

Викентий Вересаев

Проездом



Викентий Викентьевич Вересаев

Проездом

Аннотация

«– Ну, еще раз, прощай!.. Прощай, моя милая, милая!..

Ширяев прижимал к груди голову Катерины Николаевны и целовал ее лоб, где от него отходили мягкие волосы. В просвете между березами, над пчельником, светил месяц. Березы перед месяцем казались черными, а воздух за ними – прозрачно-синим и очень глубоким. Пахло спелую рожью...»

Викентий Вересаев

Проездом

– Ну, еще раз, прощай!.. Прощай, моя милая, милая!..

Ширяев прижимал к груди голову Катерины Николаевны и целовал ее лоб, где от него отходили мягкие волосы. В про свете между березами, над пчельником, светил месяц. Березы перед месяцем казались черными, а воздух за ними – прозрачно-синим и очень глубоким. Пахло спелую рожью.

Катерина Николаевна подняла голову и шепнула:

– Погоди, идет кто-то!

Они осторожно подались в темноту. Но в саду стояла глухая июльская тишина, и ничего не было слышно. Из темноты высовывались лапчатые ветви липового куста, от лунного света они казались серыми.

Ширяев громко сказал:

– Э, трусиха! Никто не идет.

И обнял ее за плечи. Они стояли так в темноте. Он чувствовал сквозь сукно студенческой тужурки, как она прижалась к нему. Обоим было необычно, слегка стыдно и сладко от этой близости.

Катерина Николаевна медленно отстранилась.

– Ну, ждут чай пить, пойдем! А то хватятся нас. – И тихо шепнула на ухо: – Завтра утром я встану тебя провожать.

Улыбаясь, он повторил: – *Тебя.*

– Ты, тебя, тобою, о тебе... – раздельно сказала Катерина Николаевна и с шаловливым вызовом глядела ему в глаза. Оба чувствовали себя, как дети. Хотелось говорить глупости. И Ширяеву радостно было видеть этот детски-шаловливый блеск в ее глазах, всегда серьезных и как будто вслушивающихся.

В конце темной липовой аллеи ярко светились окна дома, слышался говор, смех, звяканье чайной посуды. Ширяев и Катерина Николаевна медленно шли в темноте, прижавшись друг к другу. И Ширяеву казалось, – никогда еще ни у кого не было такого счастья, как у них.

Они вошли в залу. Он – плотный и слегка сутуловатый, с большою головою. Она – тонкая и гибкая, казавшаяся от этого выше его. Все мельком внимательно взглянули на них. Они думали, что никто ничего не замечает, а любовь и счастье так и сияли на их лицах.

Студент Алексей Болотов, брат Катерины Николаевны и товарищ Ширяева, разговаривал с земским врачом Кореневым. Алексей говорил быстро, слегка запинаясь и размахивая руками. А доктор, с загорелым лицом и взглядом исподлобья, лениво курил папиросу за папиросой и ворчащим голосом задавал вопросы.

Ширяев прихлебывал из стакана чай и прислушивался к разговору. Доктор расспрашивал Алексея с интересом, но за всеми его расспросами и возражениями чувствовалось что-то тускло-серое и бездеятельно-скептическое. Было стран-

но слушать его, как будто в яркий весенний день он доказывал, что небо обложено тучами и моросит вялый, бессильный осенний дождь. Жена доктора – худая, с узким, болезненным лицом – поддерживала Алексея против мужа. Но все, что она говорила, было шаблонно и неинтересно.

В разговор втянулись Катерина Николаевна и Ширяев. И у них, и у доктора, казалось, были одинаковые желания, одинаковые цели. Но, когда о них говорил доктор, его слова были похожи на сухие червивые орехи. А в устах его противников эти же слова становились живыми и горячими, полными волнующего смысла. И двум слушавшим гимназисткам, сестрам Катерины Николаевны, тоже стало странно от осенне-вялого настроения доктора.

Ширяев большими шагами расхаживал по зале. В раскрытые окна тянуло все тем же широким, сухим запахом спелой ржи. Месяц светил сквозь липы, за ними чувствовался вольный, далекий простор. Доктор, сгорбившись, пил крепкий, как темное пиво, чай, непрерывно курил и затушивал папиросы в блюдечке. От окурков на блюдечке стояла коричневая слякоть. Загорелое лицо доктора было темно, как будто от табачной копоти. И так весь он казался чуждым широкому простору, который тянулся за окнами...

Марья Сергеевна, жена доктора, сказала:

– Коля, пора ехать.

Доктор покосился на нее.

– Сейчас.

На помолодевшем и оживившемся лице Марьи Сергеевны играла легкая улыбка победительницы. И доктор самолюбиво чувствовал, что его возражения оказались в глазах всех пустыми и ничтожными.

Он вздохнул и обратился к матери Катерины Николаевны.

– Что ж, Анна Павловна, налейте на прощание еще стаканчик.

– Да куда вам спешить, посидите еще!

Чтоб не дать доктору времени согласиться, Марья Сергеевна поспешно отказалась.

– Нельзя, Анна Павловна, детишки дома ждут. У Феди второй день жарок, мне и то не по себе.

Доктор не спеша помешивал ложечкою в стакане и курил. Он лениво сказал Ширяеву:

– А я к вам как-то, Виктор Михайлович, заходил в Томилинске. В конце июня.

– Это... позвольте! – вспомнил Ширяев, – после обеда вы зашли, сказали кухарке, что будете вечером?

– Да, да.

– Так это вы были... Отчего ж вы меня не вызвали? Ведь я дома был.

– На двор нужно было заходить, а кухарка у ворот сидела. Ширяев засмеялся.

– А вечером так и не зашли. Я весь вечер просидел, ждал. – Он не прибавил: «И ругался, потому что нужно было уйти по делу».

– У приятеля, знаете, засиделся. Члена управы. То, се, спохватился – одиннадцать часов... А вы скоро назад в Томилино?

– Завтра утром.

Доктор оживился.

– С пассажирским? Слушайте, так поезжайте с нами сейчас! Ведь мы в четырех верстах живем от станции. Поедем вместе, переночуете у нас, а утром ровно к десяти я вас доставлю на станцию. Завтра у меня приема нет, как раз в ту сторону нужно ехать к больному.

Ширяев в замешательстве крутил бородку.

– Не знаю, право...

Ему было куда приятнее провести вечер с Катериной Николаевной. Марья Сергеевна очень обрадовалась.

– Нет, правда, Виктор Михайлович, поедемте! Отлично проедемся. Попьем чайку у нас...

Катерина Николаевна возразила:

– Да у вас и сесть-то негде. Ведь вы на маленькой тележке приехали.

– Ну, пустяки какие! На козлах можно, – сказал доктор. – Хотите, я сяду? А тут, наверно, лошади нужны рожь возить. Что их напрасно за пятнадцать верст гонять! Верно ведь? – обратился он к Анне Павловне.

– Лошади-то тут, положим, ни при чем, – сдержанно ответила Анна Павловна, но Ширяев уловил в ее голосе, что она не против предложения доктора.

Он беззаботно сказал:

– Ну, ладно, все равно!

Марья Сергеевна попросила, чтобы велели запрягать тележку. Катерина Николаевна вышла на балкон. Следом незаметно вышел и Ширяев. Они близко друг от друга облокотились о решетку. Он в темноте положил руку на ее руку и тихо гладил.

– Зачем ты согласился ехать?

– Как было отказаться? Неловко... Эх, хорошо у вас тут. Как хорошо!

Ширяев глубоко дышал. И от запаха ржи в саду, и от сдвигшегося за рекою месяца, – от всего несло счастьем и полною, радостною жизнью.

Лошадей подали. С шутками и смехом все вышли на крыльцо. Катерина Николаевна также улыбалась, но лицо было затуманено.

Тележка проехала спящую деревню, покатила по накатанному проселку. Пыль поднималась из-под колес и стояла в воздухе. По звездному небу бесшумно скользили падающие звезды. Марья Сергеевна оживленно рассказывала Ширяеву про время, когда она служила библиотекарьшей в воронежской библиотеке. Ширяев, с тем же ощущением молодости и счастья, слушал ее, оглядывался вокруг и вспоминал, как с крыльца на него смотрело из темноты отуманенное лицо Катерины Николаевны. В низинах стоял влажный холодок, а когда тележка выезжала на открытое место, из ржи тянуло

широким теплом. И звезды сыпались, сыпались.

Была поздняя ночь, когда они приехали. Марья Сергеевна поспешила в детскую, доктор с Ширяевым вошли в кабинет. На письменном столе были навалены медицинские книги, пачками лежали номера «Врача» в бледно-зеленых обложках. Ширяев, потирая руки, прошелся по кабинету. Остановился перед большой фотографией над диваном.

– Кто это? – спросил он.

На фотографии было снято несколько студентов и девушек. Ширяев узнал доктора в студенческом мундире, с чуть пробивающеюся бородкою, и его жену. Студенты смотрели открыто и смело. Девушки, просто одетые, были с теми славными лицами, где вся жизнь уходит в глаза, – глубокие, ясные. Поразило Ширяева лицо одной девушки с нависшими на лоб волнистыми, короткими волосами; из-под сдвинутых бровей внимательно смотрели сумрачные глаза.

Доктор ответил:

– Это на голоде мы снимались в девяносто первом году.

Ширяев указал на девушку.

– А это кто?

– Сестра Марьи Сергеевны... Не правда ли, замечательное лицо?

– Где она теперь?

– Отравилась... В Якутской области... Да вы, наверно, слышали про нее...

Доктор рассказал мрачную историю, от которой веяло

безысходным ужасом. Ширяев вглядывался в непреклонно-гордое, суровое лицо девушки, и ему казалось, – она и не могла кончить добром; тень глубокого трагизма лежала на этом лице. Доктор рассказывал про других участников группы...

Ширяев от глубины души сказал:

– Ей-богу, много на свете хороших людей!

– Много, – согласился доктор.

Вошла Марья Сергеевна.

– Господа, идите, чай готов. Что вы это смотрите? А... Это мы все на голоде снимались. Сестру видели?

– Видел.

– Ну, пойдете!

Они вошли в узенькую залу с бревенчатыми, неоклеенными стенами. Марья Сергеевна села за самовар. Ширяев смотрел на ее болезненно-темное, нервное лицо, слушал ее шаблонные фразы. Вспоминал ее молодое лицо на карточке, с славными, ясными глазами. И казалось ему, – что-то тут погибло, что не должно было погибнуть.

Доктор непрерывно курил и пил стакан за стаканом очень крепкий чай. Марья Сергеевна рассказывала о прошлом времени, о работе на голоде и холере, о своих занятиях в воскресной школе. И лицо ее все больше светлело и молодело. Выражения переставали быть шаблонными.

Во втором часу они разошлись. Ширяева положили на маленькой террасе, выходящей в цветник. На темном небе по-

прежнему бесшумно мелькали падающие звезды. Там, далеко наверху, как будто шла какая-то большая, спешная жизнь, чуждая и непонятная земле. От пруда тянуло запахом тины, изредка квакали лягушки. Было душно.

Ширяев разделся и лег. Ему постелили на полу, положив, вместо тюфяка или сена, свернутое вдвое зимнее одеяло. Он лежал, и в голове его проходили образы хороших людей, и ярче их всех – образ девушки, которую он сегодня целовал в саду, среди сумрака, пахнувшего рожью. В ушах стоял тонкий звон вившихся вокруг головы комаров. То там, то здесь кожа начинала гореть, как будто к ней прикладывали тлеющую спичку. Ширяев тер шею и лицо. Комары не унимались. К уху приближался тонкий, уныло-сосредоточенный звон. Ближе, ближе. Замолкал. И Ширяев злобно хлопал себя по виску.

– Черти проклятые! – ворчал он и кутался с головою в простыню.

От подстеленного одеяла пахло нафталином. В детской плакал ребенок. Лягушки на пруде квакали громко и непрерывно, как весною. И сквозь дремоту это кваканье вырастало во что-то громадное и близкое. Ширяев тяжело думал:

«Чего они расквакались? Должно быть, к дождю. А может быть, потому, что лошадь ходит около пруда...»

Комар с злобно-унылым звоном, как будто исполняя надоевшую обязанность, приближался к лицу. Ширяев решительно сбросил одеяло и сел. Светало. Над постелью колы-

халось прозрачно-серое облако комаров. За ивами, над прудом, стоял туман. Ширяев нащупал портсигар и закурил папиросу.

Было очень тихо. Далеко на востоке запели петухи. Им откликнулись ближе, пение росло и медленно, плавно приближалось. На деревне звонко запел молодой петух. Где-то близко, за домом, как будто запоздав и испуганно встрепенувшись, хрипло заорал совсем, должно быть, старый петух. Отовсюду кругом вперемой несло:

– Кикики-ки-и-и!.. Кикики-ки-и-и!..

И дальше, к западу, откликались и начинали петь новые петухи. Как будто невидимый дух плавно летел в тьму запада с вестью об утре, и, почуяв над собою его властный полет, встрепенувшиеся петухи приветствовали вестника. На востоке пение смолкло. Замолкали петухи кругом. Теперь то же напряженное, непрерывное пение было слышно на западе. Оно удалялось и затихало за горизонтом. И представлялось Ширяеву, как эта широкая, предутренняя волна звуков катится по земле все дальше, дальше. И следом за нею плывет тихое утро.

В детской опять заплакал ребенок. Был слышен голос Марьи Сергеевны. Ширяев побоялся, как бы Марья Сергеевна не увидела в окно, что он не спит. Он лег. Выходило солнце, начинало припекать. Комаров стало меньше, но было жарко. В зале на часах жидким жестяным звоном пробило четыре.

Ширяев неожиданно заснул. Проснулся он в восьмом ча-

су, с тяжелою, мутно-горячею головою. Солнце пекло прямо в лицо. Он сходил к пруду и выкупался.

На террасу выглянула Марья Сергеевна, в блузе, с бледным, измятым лицом.

– Вы уже встали? Ну, как вам было спать?

– Спасибо, очень хорошо!

– Идемте в залу. – Она устало села за чайный стол. – Сначала долго не могла заснуть, – вчерашние разговоры взволновали. Потом Федя не давал спать. Голова болит теперь.

С террасы с плачем вошла пятилетняя дочка Марьи Сергеевны, Аня. Она морщила пухлые щеки и тянула:

– Ма-ам, меня Костя ущипну-ул!

Марья Сергеевна нетерпеливо сказала:

– Ах, господи! Ну, не плачь!.. Не играй с ним, и не будет щипать. Вот на тебе печеньица.

Она дала ей из сухарницы альбертинку. Вошел доктор.

– А-а, чай сейчас?.. Здравствуйте!.. Я сейчас приду, только на минуту сбегаю в больницу.

Он вышел через террасу. Подали самовар. Небо нахмурилось, дверь террасы хлопнула. Марья Сергеевна поморщилась.

– Господи, как голова болит!

Ширяев участливо спросил:

– Часто она болит у вас?..

– Э, почти всегда!.. С нянькою боюсь на ночь детей оставлять, самой приходится возиться. Встанешь ночью к ребен-

ку, потом два часа не можешь заснуть. Утром с шести часов в доме начинают подниматься, шуметь, – я уж не могу спать. Не помню даже, когда это было, чтоб я выпалась.

Со двора раздался обиженно-негодующий голос Кости:

– Мама, не вели Ане дразниться!

Марья Сергеевна засмеялась и взглянула на Ширяева.

– Боже мой, какой ужас! Восьмилетний мальй, – и его Аня обижает!.. Как же она тебя дразнит?

– Говорит: у тебя черный хлеб, а у меня печеньеце!

– Ты лучше скажи мне, зачем ты ее щипал?

– Я ее не щипал! Она с палочкой играла, палочка сломалась и, наверное, ее ущипнула...

– Вот как! Ну, пожалуйста, чтоб палочка больше не щипалась!

– Пускай она с палочкой не играет, а я тут ни при чем.

Ширяев спросил:

– У вас четверо деток?

– Четверо. И, к сожалению, три мальчика... Я бы хотела, чтоб у меня одни только девочки были. Мужчины всегда гораздо эгоистичнее. В детстве за ними ухаживают сестры, мать. Женятся, – жены. Для них женщины только для того и существуют, чтоб ухаживать за ними. – В голосе Марьи Сергеевны звучало тайное раздражение. – Главное, чтоб не заботиться самим о житейских мелочах: о топке печей, о провизии, о пеленках... Право, удивляете вы меня все. Говорили бы прямо, когда женитесь, что вам нужна экономка

и нянька. Ведь в этом для вас вся суть. А между тем вы всегда говорите: «Мы будем с тобою работать на благо людей, развиваться, читать».

Воротился доктор. Он уселся за стол, положил в свой чай сахар и медленно улыбнулся.

– Приходила сейчас баба одна, старуха. «Я, говорит, у тебя вчера была, ты мне поворожил. А назад пошла я и потеряла твою ворожбу». Это про рецепт. Вместо того чтоб в аптечку нашу снести, понесла с собой... Ворожбу!.. До чего дики, боже мой! Бьешься, бьешься – сил нет. Вроде как бы гнус какой висит над тобою эта баба, и притом в огромном количестве. Сотню лет надо поработать, чтоб привыкли. Спасибо еще, земство наше хорошее, не скупится на врачебное дело. Вот больничку новую нам выстроили на восемь коек. На Успенье освящение будет. Приезжайте... – Он взглянул на жену. – Не забыть бы генеральшу на освящение пригласить, княгиню Медынскую.

Марья Сергеевна пренебрежительно повела плечами.

– Для чего этих дам-аристократок приглашать? Очень нужно с ними знаться!

Раздражаясь, доктор сказал:

– Как ты этого не понимаешь? Она жертвовала!

Марья Сергеевна вспыхнула.

– Ну, не понимаю!.. Что ж такого? Почему я не имею права высказать свое мнение? Вот либеральная привычка – злиться, когда с ним не соглашаются!

Доктор с затаенною враждою взглянул на нее, поспешно сделал безразличное лицо и обратился к Ширяеву:

– Вот вам и хорошая погода! Посмотрите-ка, какие тучи собираются.

Ширяев осторожно спросил:

– А не пора нам ехать?

Доктор взглянул на часы.

– Скоро нужно выезжать. Вели, Маша, запрягать лошадей, – сумрачно обратился он к жене.

Вошел фельдшер.

– Николай Петрович, извините, забыл спросить. Нужно Гавриле клизму ставить?

– Погодите, я сам схожу. Нужно еще посмотреть, не промокла ли повязка у Груньки.

Он ушел с фельдшером. Полил дождь, капли зашумели по листьям деревьев. Ветер рванул в окно и обдал брызгами лежавшую на столике книжку журнала. Марья Сергеевна заперла окна и дверь на террасу. Шум дождя по листьям стал глуше, и теперь было слышно, как дождь барабанил по крыше. Вода струилась по стеклам, зелень деревьев сквозь них мутилась и теряла очертания.

В голове у Ширяева было тяжело. В комнате потемнело. Лицо Марьи Сергеевны стало еще бледнее, болезненнее и раздраженнее. Ширяев видел, как все в ней кипит, словно кто-то ушиб ей постоянно болящую язву. Он взял со столика книжку журнала, стал перелистывать. Чтоб отвлечь Марию

Сергеевну от ее настроения, спросил:

– Видели вы книгу «Проблемы идеализма»?

– Не видела. – Марья Сергеевна помолчала. – И ничего даже не слышала про нее. Где мне теперь читать... А что, интересная?

– Об ней много этот год было разговоров. Мне не нравится...

Он стал говорить о книге.

На дворе дул ветер. Дождь хлестал в стеклянную дверь террасы. За дверью появилась темная фигура доктора с зонтиком. Он постучал в стекло. Ширяев отпер дверь. Марья Сергеевна сердито сказала:

– Что ты все через террасу ходишь? Через каждые пять минут отпирать тебе!

Доктор резко и нетерпеливо ответил вполголоса:

– Ну, хорошо!

– Что – «хорошо»? Вовсе не хорошо! Ходи кругом, через крыльцо... Сыро, сквозит, а ты постоянно через балкон. Только и знай, что вставай, отпирай тебе...

Она продолжала говорить, а доктор с неестественно-безразличным лицом обратился к Ширяеву:

– Да, я вот думал, что хорошая погода надолго установилась. Барометр вчера показывал beau temps¹. А изволите видеть, что на дворе делается!

Марья Сергеевна замолчала и стала перетирать стаканы.

¹ Ясно (франц.).

Ширяев смотрел на нее и думал: «Ведь были же, были у нее эти ясные, славные глаза, с какими она снята на группе... Обманывала ли ими жизнь, как она обманывает людей мимолетною девическою прелестью? Или тут погибло то, что не могло и не должно было погибнуть? почему тогда оно погибло так легко и так безвозвратно?»

Марья Сергеевна спросила доктора:

– Скажи, пожалуйста, ты видел книгу... Как ее, Виктор Михайлович?.. Да, «Проблемы идеализма»... Видел ее?

Доктор неохотно пробурчал:

– Видел.

Она нервно засмеялась.

– Удивительное дело! А я даже ничего и не знала, ничего даже не слышала про нее!

– Кто ж в этом виноват? – доктор пожал плечами.

– Вот и подумай, кто в этом виноват... От кого я что-нибудь могу услышать, кроме тебя? Весь день торчу в кухне и детской, забочусь, чтоб тебе обед был вовремя, и чтоб тебе дети не мешали спать после обеда. Откуда же я могу знать?

Доктор нахмурился и тяжело вздохнул.

– Ну, пошло!

– Да, пошло! «Общение», «совместная духовная жизнь»... Какие красивые слова, как приятно употреблять их в умных разговорах! Со стороны можно подумать, какой новый человек, с какими новыми требованиями от брака! А на поверку выходит, – обыкновенный мягкотелый интелли-

гент, нужно только все прежнее.

Она говорила нервным, спешащим голосом, как будто нарочно старалась не дать себе времени одуматься. Ширяеву было неловко. В глазах доктора загорался мрачный, неврастенический огонек. Он тоже терял желание замять ссору и не дать ей разгореться хоть при чужом человеке. Враждебно глядя на жену, он спросил:

– Скажи, пожалуйста, при чем тут мягкотелость?

– Нужно только все прежнее. Чтобы жена рожала детей, заботилась о провизии, о дровах и устраивала уют. А чтоб самому спокойно пользоваться жизнью... Господи, настоящие пауки, право! Приникнут к женщине и сосут. И высасывают ум, запросы, всю духовную жизнь. И остается от человека одна родильная машина.

Доктор еще раз отдельно спросил:

– Ты скажи мне, – при чем тут мягкотелость? Ну, укажи мне, – вот я спрашиваю тебя: как иначе устроить нашу жизнь? Сам я не могу заботиться об обеде, потому, что мне до обеда нужно принять сто человек больных. После обеда мне нужно поспать, а то я вечером не в состоянии буду ехать к больным. Если я вздумаю следить за дровами и провизией, то не в состоянии буду зарабатывать на дрова и провизию. Ребят мне нянчить тоже некогда... В чем же я могу тебя облегчить? Ну, скажи, укажи, – в чем?

Марья Сергеевна рассмеялась и торжествующе взглянула на Ширяева.

– Вот, вот! Это самое и выходит: будь экономкой, нянькой, и больше ничего!

Доктор с угрюмым вызовом подтвердил:

– Это самое и выходит: будь экономкой и нянькой! Оно так в действительности и есть в каждой семье. Да и не может быть иначе. Только интеллигентный человек стыдится этого и старается скрыть от посторонних, как какую-то дурную болезнь. Почему же этого прямо не признать? Если люди женятся для бездетного разврата, то вопрос, конечно, решается легко. Но тогда зачем жениться? А в противном случае женщина только и может быть матерью и хозяйкой.

Марья Сергеевна насмешливо протянула:

– Вот как!.. Я это от тебя в первый раз слышу.

– Да. И все нынешние... общественные формы, что ли, таковы, что иначе и не может быть. Мы теоретически выработали себе идеал, который соответствует совсем другому общественному строю, более высокому. И идем с этим идеалом в настоящее. А в настоящем он неприменим. И все только мучаются, надсаживаются, проклинаят свою жизнь.

Ширяев осторожно спросил:

– Почему же вы думаете, что в настоящем этот идеал неприменим?

– Ну вот научите меня, – как его применить? Я не знаю. Хотел самым искренним образом, а изволите видеть, – жизнь устроила по-своему. Раз есть семья, необходим свой отдельный угол. Угол, очень сложно управляющийся! Этого только

не видно со стороны... Настолько сложно, что нужен один руководитель. Попробуйте-ка, вмешайтесь в распоряжения хозяйки! Что ж выходит? Выходит – весь вопрос только об обмене ролями между мужем и женой. Потому что одному-то из них все равно нужно сидеть в этом углу. Ну-с, а что же это за решение? Я по крайней мере такого решения не принимаю. Не умею ухаживать за детьми. Не умею нянчить их и варить каши. Не умею и не хочу. Инстинктов соответственных, что ли, нет у мужчины. Но только и мать-то ни одна, если в ней есть хоть капля материнского чувства, не согласится на это... Отдельные мужчины, пожалуй, есть такие. Но все они, сколько я их ни видал, с совершенно бабьей натурой, безвольные и бездеятельные... Так вот-с, я и спрошу: как же тут быть женщине? Либо смотреть на детей в семье, как на какие-то злокачественные образования, либо... старая история: не выходить замуж и не иметь детей.

Доктор пожал плечами и взялся за свой стакан. Он лениво глотал крепкий чай. В маленькой зале сгушался серый сумрак. Ширяев думал: «Уж давно бы пора ехать».

Своим ворчащим голосом доктор нехотя заговорил:

– В будущем, там другое дело. Там решение вопроса ясно. И уж теперь жизнь дает намеки на это решение, особенно за границей. Сложное, трудное управление собственным углом становится ненужным. В домах – центральное отопление. На каждом перекрестке – Дюваль или Ашингер, где вы без всяких хлопот имеете сытный, здоровый стол. Все больше раз-

виваются всякие ясли, детские сады. Все больше сознается, что не мать – лучшая воспитательница ребенка, что для воспитания нужно умение и призвание.

Ширяев решительно сказал:

– Николай Петрович, как хотите, мне нужно на станцию!

Доктор усмехнулся.

– Гос-споди, как он беспокоится! – Он не спеша взглянул на часы. – Чего вы боитесь? Поспеете... Вот еще по стаканчику выпьем и поедем... – Он угрюмо покосился на жену. – Маша, скажи, чтоб подавали лошадь.

Ширяев с враждою подумал:

«Почему он сам не может сказать? Расселся тут, курит и болтает, а у ней голова болит...» Он сумрачно оглядел доктора и встал.

– Я сейчас скажу.

Лошадь подали. Доктор набивал портсигар папиросами. Лицо Марьи Сергеевны стало еще бледнее и болезненнее. Она пожала Ширяеву руку.

– Ну, прощайте!.. Вот вы теперь видели, во что обращается через десять лет русский радикальный интеллигент.

Доктор исподлобья оглядел ее и стал надевать пальто.

Сели и поехали. Из низких туч моросил дождь. Колеса тележки скользили по размокшей, глинистой дороге. Доктор сидел в тележке, сгорбившись под зонтиком. Зонтик тряся, и тряслась спина доктора.

Из-за рощи выглянули красно-коричневые станционные

здания с зелеными крышами. Над ними взвился белый дымок. Слабо донесся свисток поезда. Ширяев спросил:

– Это не наш поезд?

– Нет, товарный...

Подъехали к станции. Доктор крикнул сторожу:

– Пассажирский скоро придет?

– Сейчас ушел.

– Да-а, извольте видеть... Вот она какая штука! – Доктор помолчал. – Что ж теперь делать? Придется вам с почтовым ехать, в десять вечера. А пока идите к нам, – пообедаете, чайку попьете.

Ширяев холодно ответил:

– Нет, я уж тут подожду. Может быть, удастся уехать с товарным.

– Ну, как хотите. До свиданья!

Кучер повернул лошадь. Над забрызганным грязью задком тележки опять затряслась сторбившаяся под зонтиком спина доктора. Ширяев подумал: «Русак проклятый!»

Он сидел на платформе, подняв воротник пальто. На зеленом фоне деревьев сияли мелкие капли дождя. Было холодно, сыро. В душе лежал противный, мутный осадок, не хотелось вспоминать и думать о виденном... В жизни обычной, ровной, как во всем, к чему не приглядываешься, – вдруг расселась широкая щель. Из нее пахнуло тупым надсадом. Зашевелились темные вопросы... Ширяев старался не замечать их. В памяти вставали мягкие волосы над лбом, тихий

шепот среди сумрака, пахнувшего рожью. И он думал: *с ними*, – с ними этого не повторится. Люди ищут нового счастья и ждут, что к нему прийти так же легко, как к старому. А жизнь густа, дремуча и не раздвигается сама собою в гладкую дорожку. Кто хочет новых путей, должен выходить не на прогулку, а на работу.

С неба сеял мелкий дождь. Сырой ветер дул с полей.

1903